
Марк Бельтрами
ПЕКАРНЯ
назло генералу

Марк Бельтрами

Отвергнутая жена дракона, или Пекарня назло генералу

https://litres.ru/75017467
SelfPub; 2026

Аннотация

«Ты пахнешь мукой, Ольвия. Жена генерала не стоит у печи». Три года я была женой генерала Рагнара Вальтора, чёрного дракона и командира гарнизона Вальдмоста. Как только закон разрешил развод, он подал бумаги. Детей нет, зато есть графиня Ингрид Сольве. Мне оставили только приданое: старую печь матери.

Назло ему я открыла пекарню в бывшей свечной лавке, прямо напротив ворот гарнизона. Патента мне не дали, и я торгую меной по старому закону: солдаты несут за хлеб гвозди и дрова. Капитан стражи Ярен Дубров, медведь-оборотень, сначала оштрафовал меня, а теперь он мой вечный должник.

Солдаты начинают болеть. Дочь мельника находит в казённой муке спорынью, а клеймо на мешках принадлежит графине. Рагнар упрямо считает мои слова ревностью.

Вернуться в дом, где мой хлеб назвали стыдом, я не собираюсь. Но смотреть, как гарнизон ест отраву, тоже не стану.

Кто стоит за гнилой мукой на самом деле и успеет ли пекарня спасти голодную осень?

При подготовке книги использовалась нейросеть.

Содержание

Глава 1. Жена генерала не стоит у печи 5
Глава 2. Запишите на меня 16
Глава 3. Мена не торговля 26
Глава 4. Очередь до самых ворот 36
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Марк Бельтрами
Отвергнутая жена дракона, или Пекарня назло генералу

Глава 1. Жена генерала не стоит у печи

Тесто в тот вечер упрямилось не меньше меня. Я мяла его основанием ладоней, мука взлетала и садилась мне на рукава, на щёку, на край стола, и вся кухня комендантского дома пахла так, как не пахло ни в одной из господских комнат наверху. За спиной скрипнула дверь. Оборачиваться я не стала: Рагнар ходил по собственному дому тяжело и чётко, как по плацу, и его шаги я узнала бы и во сне.

– От тебя опять пахнет мукой, Ольвия, – сказал он вместо приветствия. – Жена генерала не стоит у печи. Графиня Сольве к печи и близко не подходит.

Меня зовут Ольвия Тарн, мне двадцать шесть, и три года я была женой генерала Рагнара Вальтора, чёрного дракона и командира гарнизона Вальдмоста. Дом, где я стояла по локоть в тесте, был его комендантским домом в бывшем мона-

стыре на холме, а печь у стены, чугунная дверца которой отражала свечу, досталась мне от матери и была единственным, что принадлежало мне одной во всём этом доме. Я пекла по вечерам тайком от прислуги, потому что генеральской жене положено вышивать, и вот он стоял в мундире, высокий, с седой прядью у виска, и смотрел на мои руки так, словно впервые увидел на них ожог-полоску от печи.

– Ох, – я разогнула спину и обтёрла руки о фартук. – С каких это пор графиня Сольве у нас образец для жён?

Он не ответил, и тишина вышла такой длинной, что сказала мне всё раньше него. Я привыкла, что Рагнар говорит короткими приказами, и если он тянул, значит, приказ был такой, какого он сам не хотел отдавать.

– Мм… – голос у меня всё-таки дрогнул. – Ну-ну. Начал, так договаривай. Не зря же ты мундир надел.

– В субботу прошли три полных года, – сказал он ровно, глядя куда-то поверх моей головы, на связку сушёного укропа. – Закон разрешает расторгнуть брак по «пустому очагу». Я подал прошение в храм. Суд будет во вторник, через неделю. И я женюсь на Ингрид Сольве.

Сначала я рассмеялась, глупо, коротко, потому что тесто на руках липло, а он говорил про закон так, будто сверял ведомость. Потом поняла, что он не шутит, и смех оборвался на полувздохе.

– Ты женишься, – повторила я. – На графине. Той самой, которая шесть раз за лето пила у нас чай и хвалила мои пи-

рожные, а я думала, что она просто добрая.

– Она держит гарнизон, Ольвия, – Рагнар шагнул к столу, и от его кожи потянуло жаром, как от открытой заслонки. – Казна марки урезала нам деньги ещё весной. Триста человек, которым нужны жалованье, дрова и крыша. Деньги Сольве их кормят. Я не стану объяснять тебе дважды и не стану оправдываться: это долг, а не прихоть.

– Ты пришёл в мундире, чтобы я не вздумала возразить, да? – я упёрла кулаки в бока, и мука с них посыпалась на пол. – Чтобы я видела не мужа, а приказ? Хм. А я-то, дура, пекла к твоему возвращению пирог с яблоками. Он в печи, между прочим, подгорает, пока ты мне зачитываешь устав.

– Пирог оставь, – сказал он, и голос на мгновение потерял привычную сталь. – Я не хотел, чтобы ты узнала от чужих. Поэтому пришёл сам. Прошение подано честно, приданое тебе вернут по записи, а жить, пока не решится дело, ты можешь здесь. Никто тебя не выгонит раньше суда.

– Какая щедрость, Рагнар, – ответила я, и от собственного голоса мне стало противно. – Спасибо, что не выставил в день объявления. Я запомню твою доброту, она у тебя такая редкая, что её надо записывать.

Он стиснул челюсти, и по скулам мелькнула тень того жара, который бывает у него только в гневе, но он промолчал. Я отвернулась к печи, вынула пирог голыми руками, обожглась и выругалась сквозь зубы, а он стоял за спиной и не шевелился, и я знала, что он видит, как дрожат мои плечи.

– Долг! – крикнула я, и кухня отозвалась эхом. – Долг у тебя, а у меня что, пустой очаг? Три года я вставала затемно, чтобы твои сапоги нашли чистые портянки, три года просила лекаря посмотреть, почему у нас нет детей, а ты отвечал, что подождём! Подождали, да? Подождали ровно до того дня, когда закон позволил выбросить меня, как лишний мешок?

Я схватила комок теста и швырнула его об стол так, что мука брызнула ему на мундир. Он не пошевелился, только в жёлтых глазах на миг дрогнул вертикальный зрачок, и я порадовалась этому, злой радостью человека, которому больше нечем ударить. Потом я стянула с пальца кольцо из чёрного железа с золотой нитью, оно сидело туго, пришлось крутить, и положила его на край стола, рядом с мучной лужей.

– Забирай. Оно тебе скоро понадобится для другой руки.

Он посмотрел на кольцо, потом на меня, и мне показалось, что он хочет что-то сказать, но Рагнар не умел говорить то, что нельзя приказать. Он развернулся и вышел, а я осталась стоять в кухне, где пахло дрожжами и его железом, и только когда шаги затихли на лестнице, поняла, что у меня трясутся колени.

***

Всю неделю он ночевал в штабе. Я слышала, как в окно царапается осенний дождь, как внизу ходит караул, и считала дни по двери, которая больше не открывалась. Горничные смотрели на меня с жалостью, от которой хотелось запустить в них скалкой, поэтому я собирала вещи сама и без свиде-

телей: два платья, шерстяной платок, материнский гребень, ножи, которые точил отец, большой глиняный горшок для закваски.

Складывая вещи, я поймала себя на том, что вспоминаю весну, когда всё началось. Он тогда пришёл на отцову мельницу купить муки для гарнизона, высокий, суровый, с седой прядью, и отец, посмеиваясь, велел мне вынести гостю горячего хлеба, потому что на мельнице так принято. Рагнар съел ломоть стоя, молча, до последней крошки, потом попросил второй, и я впервые увидела, как мужчина, о котором в городе говорили шёпотом, ест мой хлеб, как мальчишка. Тогда мне казалось, что я нужна ему именно такая, мучная, с обожжёнными руками. Выяснилось, что это был вкус хлеба, а не мой.

На третий вечер я села на пол в кладовой, развязала материнский фартук, где было зашито всё моё богатство, и разложила монеты на половицах. Сорок талеров. Я пересчитывала их трижды, потому что считаю всё в медяках и потому что руки хотели занятия: сорок талеров это восемьсот медяков, это четыреста караваев по два медяка, если не считать муку, дрова и аренду, а их считать пришлось бы. Значит, жить можно ровно столько, сколько я успею придумать, на что.

Потом я вспомнила хлебное окно. Оно было в стене монастырской пекарни, маленькое, заложенное доской, и выходило в Кривой переулок. Когда-то монахи подавали через него хлеб бедным, а я нашла эту доску на второй год брака и стала

по утрам, пока Рагнар был на плацу, вынимать её и совать в щель тёплые лепёшки. Дети с Кривого переулка приходили к окну, как воробьи к кормушке, и ни один не спрашивал, чья это пекарня. Я тогда впервые почувствовала, что руки у меня не стыд, а дело. Генералу я об этом не говорила, потому что знала, что ответит.

***

Утром девятого сентября я долго стояла перед зеркалом в спальне, где теперь всё принадлежало не мне, и выбирала, какое платье надеть на собственное расторжение. Серое, как мышь? Синее, праздничное? В конце концов я надела то, в котором ходила на рынок, тёмно-коричневое, с карманами для монет, потому что хотела войти в храм такой, какая я есть, а не такой, какой меня рисовали в господских гостиных. Заплела косу узлом, потуже, чтобы не рассыпалась, и спустилась вниз.

На Рыночной площади было людно, и я сразу поняла, что весь город уже знает. Торговки у рыбных рядов замолкали, когда я проходила мимо, а потом начинали шептаться за спиной, и я слышала обрывки: «та самая», «пекарша», «и ведь не жаль, а». Одна из них, толстая, с красными руками, вдруг шагнула вперёд и сунула мне в ладонь тёплый пирожок с капустой, пробормотав, что с утра ничего не ела, небось. Я хотела поблагодарить, но она уже спряталась за свой прилавок, и пирожок я съела на ступенях храма, стоя, глотая вместе с ним последние слёзы, которые наконец прорвались и тут же

высохли.

***

Суд в храме Очага занял десять минут, и это я отметила с какой-то профессиональной злостью: тесто и то выстаивается дольше. Храм стоял на Рыночной площади, в нём было холодно и пахло воском. Судья без имени, сухой человек с лицом человека, которого оторвали от обеда, зачитывал запись по бумаге и ни разу не поднял головы.

– Брак, заключённый тридцатого августа тысяча триста сорок четвёртого года, расторгается по причине пустого очага, – говорил он скучным голосом. – Приданое жены по брачной записи: печь, кирпич, чугунная дверца с руной колоса и очажный камень. Содержания не назначается. Жена возвращает девичью фамилию. Приданое надлежит забрать из дома мужа в течение трёх дней.

– И всё? – спросила я. Голос вышел тонким, и я прокашлялась. – Три года, и от них мне достаётся печь?

– Госпожа Тарн, – судья наконец поднял глаза и посмотрел так, будто я задержала очередь, – вы получаете всё, что записано. Следующее дело.

Рагнар стоял в трёх шагах от меня, в парадном мундире, прямой как столб, и ни разу не повернулся. Справа, на скамье для почётных гостей, сидела графиня Ингрид Сольве. Платиновые волосы лежали гладко, на руках были серые перчатки, тонкие, до локтя, и она сложила ладони на коленях, как складывают их женщины, которым никогда не при-

ходится ничего держать. Когда наши глаза встретились, она чуть склонила голову, вежливо и без торжества, и я бы предпочла торжество.

Я прошла мимо неё, остановилась перед Рагнаром и подождала, пока он наконец посмотрит на меня сам.

– Господин генерал, – сказала я, и слово «господин» легло между нами холоднее, чем камень порога. – Печь мою вы сохраните в целости до конца срока, я заберу её своими руками, чужих не надо. А пока скажу одно, и вы услышите, потому что вы всё слышите, когда это приказ.

– Говори, – ответил он тихо.

– Вы забрали у меня мужа, генерал, а печь оставили. Ох, зря вы так недооцениваете печи, – сказала я и сама удивилась, как спокойно звучит мой голос.

Он промолчал, только на скулах заходили желваки, и я повернулась и пошла к выходу, не оглядываясь, хотя спина горела, как у печи, в которую подбросили угля. Это было первое «вы» за три года, и оно оказалось неожиданно лёгким, как будто я сняла тяжёлую корзину с плеч.

***

К вечеру мне стало некуда идти. Комендантский дом больше не был моим, и три дня на вывоз печи казались шуткой, потому что для этого нужно было место, а места не было. Я стояла на Воротной площади под моросящим дождём, с узлом вещей на плече и горшком закваски, прижатым к груди, как ребёнок, и думала, что самое время расплакаться,

только слёз не нашлось.

– Деточка, ты чего мокнешь? Заходи, заходи, я тебя заждалась!

Это была Хельга Брун, вдова свечника, хозяйка лавки на Воротной площади, маленькая, в трёх платках, один на голове, другой на плечах, третий неизвестно зачем на поясе. Я знала её по рынку: в хорошие дни она пускала меня торговаться за воск. Левое ухо у неё не слышало, поэтому Хельга всегда поворачивалась ко мне правым и кричала.

– Мне передали, что ты ищешь угол, – кричала она, затаскивая меня в сени за рукав. – Весь город уже знает про суд, у нас новости быстрее ветра бегут, а ветер тут сильный! Смотри, вот лавка, а вот кухня, тут я свечи топила, а наверху две комнаты, одна светлая, вторая тёмная, но печка исправная. Шесть талеров в месяц, и ни медяком меньше, я вдова, мне ещё сыру покупать.

Я огляделась. Торговый зал был пустой, с голыми полками, пахнувший воском и мышами. В кухне стояла остывшая плита для топки свечного сала, а в зале, вдоль окон, шли широкие подоконники, из которых вышли бы прекрасные прилавки. Я подошла к окну, протёрла запотевшее стекло ладонью и увидела Северные ворота гарнизона, ровно напротив, в двадцати шагах, с факелами и караулом.

– Ох, Хельга, – выдохнула я. – Вы понимаете, что окна выходят прямо на ворота? Вы понимаете, чья это стена?

– Конечно, понимаю! – Хельга довольно хихикнула. – За-

то свечи тут всегда хорошо шли: солдатам вечно нужны. Так что, берёшь? Шесть талеров, деточка, вперёд за месяц.

– А мышей вы мне тоже в аренду сдаёте? – спросила я, потому что в углу что-то шуршало.

– Мыши бесплатно, это моя доброта, – она замахала на меня платком. – Но ты не бойся, они воспитанные, при свечах выросли. Давай я тебе наверх покажу, там тепло, там я сама зимовала, пока муж был жив.

Мы поднялись по скрипучей лестнице. Светлая комната оказалась небольшой, с низким потолком и узким окном, но в ней стояла железная кровать с пёстрым лоскутным одеялом, а на подоконнике лежал забытый огарок. Вторая, тёмная, годилась для кладовой, и я сразу прикинула, куда поставлю мешки. Хельга в это время охала на ступеньках, держась за бок, и жаловалась, что лестница с каждым годом круче, а колени с каждым годом хуже, и что она давно мечтала сдать это дело в хорошие руки, пока сама не свалилась.

– Деточка, – добавила она уже тише, и я наклонилась к её правому уху, – я про тебя много слышала. Про печь твою, про окно, про то, что ты детей кормила. Не думай, что мы в городе такие уж слепые. Если кто и дурак, то не весь город, а один дом на холме.

Я развязала фартук, отсчитала шесть талеров, и они зазвенели у неё на ладони, громко, как сданная партия. Тридцать четыре осталось. Я представила, как рядом, за воротами, на кухне Рагнара, стоит моя печь с дверцей колоса, как под утро

караульные будут чуять запах хлеба прямо через стену, и как самому генералу придётся смотреть на мою вывеску из окна кабинета. Это было смешно, глупо и страшно, но я уже знала, что сделаю.

– Беру, – сказала я. – И печь поставлю здесь. Только окна мыть не буду, пусть смотрят.

Хельга захохотала, прикрыв рот платком, вытерла глаза и ушла во двор, к флигелю, ворча, что у молодых никакой осторожности. Я осталась одна в пустом зале и обошла его по кругу, трогая ладонью холодные полки, будто знакомилась с лошадью. Где-то здесь встанет печь, а вот тут, у окна, будет прилавок, и от двери до ворот хватит ровно двадцати шагов, чтобы запах дошёл до караула раньше, чем туда дойдёт мой первый покупатель. Я считала в уме, сколько мне понадобится муки, дров и мешков, сколько караваев нужно продать, чтобы платить Хельге, и мне вдруг стало легче, потому что в цифрах не было ни графини, ни суда, ни серых перчаток. Цифры умели только одно: сходиться или не сходиться. Мои, как ни странно, сходились.

Я поднялась наверх, поставила закваску на подоконник светлой комнаты и открыла створку. Из окна моей новой спальни были видны Северные ворота гарнизона, и я впервые за неделю улыбнулась.

Глава 2. Запишите на меня

Туман над Воротной площадью стоял такой густой, что осёл Сухарь шёл по нему, как по молоку, и только уши торчали над белым. Я вела его под уздцы вдоль мокрой стены, а за нами тряслась Хельгина тележка, пустая и гулкая, как барабан. Было утро среды, десятое сентября, и из трёх дней, отпущенных на вывоз печи, шёл второй.

– Стой, госпожа Тарн, – из тумана перед воротами вышел караульный и опустил алебарду, преградив дорогу. – Без приказа не велено. Сам адъютант сказал.

– Ох, милый, я же не крепость штурмую, я кирпичи забираю! – я потрясла перед ним бумагой из храма, которую вчера вечером три раза перечитала. – Вот запись, вот печать, приданое жены по брачной записи, три дня на вывоз. Если до пятницы печь не выедет, она по закону станет генеральской. Хотите, чтобы я объяснила генералу, почему его стражник лишил его честности?

Караульный побелел, потому что слово «честность» в гарнизоне имело вес, и побежал за кем-то в туман. Вернулся он с Лейфом Ростадом, адъютантом Рагнара, щеголем с усиками, у которого даже в сырую погоду пуговицы блестели, как свежие монеты. Лейф окинул взглядом тележку, осла и мою косу, с которой стекала вода, и поморщился так, словно ему подали несвежую рыбу.

– Госпожа Тарн, – сказал он вежливо и неискренне. – Генерал распорядился пропустить вас на кухню. Печник уже ждёт. Прошу вас держаться кухни, в другие помещения ход закрыт.

– Я три года тут жила, господин адъютант, – ответила я. – Мне даже интересно, куда там можно ещё заблудиться.

Он не ответил, и мы пошли через двор, мимо казарм, откуда выглядывали солдаты, мимо плаца, где в такой туман никто не строился, к комендантскому дому. Я старалась не смотреть на окна второго этажа, но смотрела всё равно: на одном из них шевельнулась занавеска, и я подумала, что у генерала вся жизнь так: стоять за стеклом и отдавать приказы, пока другие носят кирпичи.

***

На кухне меня ждал Матс Ольсен, печник из Гончарного конца, чёрный от сажи с головы до ног, такой молчаливый, что я за три года ни разу не слышала от него больше двух слов подряд. Печь стояла на прежнем месте, у стены, большая, закопчённая, с чугунной дверцей, на которой отливал бронзой выпуклый колос. Мне вдруг стало так тепло и больно, что пришлось отвернуться и сделать вид, будто я поправляю платок.

– Разбираем сверху, – сказал Матс и протянул мне рукавицы. – Осторожно, госпожа. Она старая.

– Она моей матери, мастер Матс, – ответила я. – Её нельзя ломать, как амбар. Каждый кирпич нумеруем мелом, дверцу

несём вдвоём, камень очажный заворачиваем в рогожу и от земли не поднимаем, пока я не скажу.

Я не ждала помощи, но через четверть часа в кухню потянулись солдаты. Сначала двое, из тех, что стояли у ворот: они взяли кирпичи, и один, лопоухий и совсем молодой, смущённо сказал, что его мать тоже печёт, и он знает, как это тяжело. Потом пришли ещё трое, потом человек десять, и вся кухня наполнилась стуком, сапогами и ругательствами вполголоса. Они передавали кирпичи по цепочке до самой тележки, я принимала, Матс стучал мелом, а у дверцы я стояла сама, и никто не посмел её взять.

Один раз я подняла голову и увидела в окне второго этажа Рагнара. Он стоял с заложенными за спину руками, в одной рубашке, без мундира, и смотрел во двор, на солдат с моими кирпичами. Я не помахала и не отвернулась, а просто держала дверцу, как держат щит, пока на тебя смотрят. Он не вышел. Через минуту занавеска задёрнулась, и я до сих пор не знаю, что он хотел увидеть: мою слабость или свою вину.

К полудню печь стояла кучей кирпича на тележке, дверца лежала сверху на соломе, а Сухарь обречённо жевал край моего платка. Мы вывезли её через ворота, мимо Лейфа, который отвернулся к стене, и проехали два десятка шагов через площадь до лавки, где Хельга уже махала нам из окна, крича, чтобы мы не ставили кирпичи у крыльца.

Сухарь, как назло, именно в этот момент решил, что на сегодня с него хватит. Он встал посреди площади, расставил

ноги и упёрся так, будто его собирались вести на бойню. Я тянула его за повод, уговаривала, обещала морковь, потом пригрозила, что продам на колбасу, а он только повёл ухом и с достоинством вздохнул. Тележка стояла, кирпичи лежали, дождь начинал накрапывать, и вся Воротная площадь с интересом наблюдала, как бывшая жена генерала торгуется с ослом.

– Ну пожалуйста, – сказала я ему, наконец, тихо и по-человечески. – Мне больше некого просить. Дотяни до крыльца, а там делай что хочешь, хоть стой до вечера.

Сухарь подумал, посмотрел на меня огромными влажными глазами и неспешно, со вздохом, зашагал вперёд.

***

Мы поставили их у крыльца. Тележка не пролезала в сени, а кирпичи нужно было сгружать сразу, пока дождь не размочил рогожу, и через полчаса вся мостовая перед лавкой была завалена рядами красной глины. Я носила их в охапке по четыре штуки, солдаты помогали, пока у них не кончилась смена, и вот когда я в очередной раз вышла на улицу, перед моим крыльцом стоял широкий человек в тёмном плаще с серебряной бляхой.

– Гхм, – сказал он. – Прошу прощения, вы хозяйка этих кирпичей?

Он был огромный, рыжевато-бурая борода курчавилась, а через левую бровь шёл белый шрам, делавший лицо строже, чем оно, кажется, было на самом деле. Я стояла с охапкой

кирпича, с мокрыми от дождя волосами, и сначала решила, что это грузчик.

– Я хозяйка, – ответила я. – А вы кто? Если помогать, то вон там ещё штук двадцать лежит, а если просто стоять, то отойдите, вы мне тень на мостовую кидаете.

– Дубров, капитан городской стражи, – он вынул из-за пояса книжку и карандаш, и мне стало дурно. – Госпожа, согласно городскому уложению, мостовая перед домом должна оставаться свободной для проезда не менее чем на ширину телеги. У вас, как я измерил шагами, остаётся ширина тачки. Приличной, но тачки. Это нарушение, за которое положен штраф. Три талера.

– Три талера! – я уронила кирпичи себе на ногу и зашипела. – Вы с ума сошли? Это же не булыжник и не бочка с мусором, это печь моей матери, всё, что у меня осталось! Вам что, ничего не жалко? У меня вся казна тридцать четыре талера!

– Мне очень жалко, госпожа, – капитан вздохнул, длинно, будто и правда страдал. – Я человек простой, у меня на всё есть одно правило: закон скучный, зато один на всех. Я бы с радостью вас пожалел, но тогда завтра у ратуши встанет бочка, а послезавтра воз с сеном, и я потеряю последнее, что у меня есть, то есть право называть себя капитаном. К тому же я голоден, а голодный я становлюсь придирчивым, так что вам повезло: будь я сыт, вы бы платили пять.

Я посмотрела на него, на книжку, на кирпичи, и от ярости

у меня даже слёзы высохли. Он был смешной, этот капитан, ворчал длинно, с какой-то усталой печалью, как человек, которому очень хочется быть добрым, но служба не разрешает. Однако три талера оставались тремя талерами.

– Вы медведь, – сказала я. – Самый настоящий, из тех, что в лесу прячутся и мёд воруют. Только в лесу вам хоть мёд достаётся, а тут вы людей по миру пускаете.

– Госпожа Тарн, – он слегка наклонил голову, и в бороде мелькнуло что-то вроде улыбки, – это прекрасное наблюдение, я его запомню. Квитанцию получите.

Он выписал бумагу, оторвал её, я отсчитала три талера, нарочно медленно, по одному, чтобы он слушал каждый звон. Он принял деньги, вернул мне бумагу, заглянул мне через плечо, туда, где в проёме двери стояла Хельга с платком у рта, и принюхался. Я заметила, потому что нос у него дёрнулся, как у собаки. Потом он крякнул, поправил плащ и ушёл вдоль площади, и только в конце улицы я поняла, что за всё время он ни разу не сказал мне «да» или «нет» одним словом.

– Ох, деточка, а ведь красавец, – прошептала Хельга мне в правое ухо, как будто так было слышнее. – Хоть и штрафует.

– Он штрафует, а красота ваша тут ни при чём, – ответила я и запихнула квитанцию за пазуху. Осталось тридцать один талер.

***

Матс пришёл на следующее утро, в четверг, и работал с

таким упорством, что к вечеру я бы не узнала собственную кухню. Он выложил основание, поставил очажный камень на заранее выбранное место, уложил кирпичи так ровно, что между ними не прошёл бы лист бумаги, и в сумерках навесил на устье чугунную дверцу с колосом. Печь встала в лавке, как будто стояла тут всегда, и в её живом тепле, ещё не топленом, а только вспомнившем себя, мне почудился запах материнской кухни.

– Хорошая, – сказал Матс. Это было самое длинное слово, которое он мне говорил, и я отдала ему круглую буханку, которую испекла на Хельгиной плитке, а работу он обещал записать на потом, когда у меня появятся деньги: сказал, что печь матери ставил бы и даром. Он ушёл довольный, а я осталась одна.

Вокруг было тихо, только потрескивал в плите огонь да где-то во дворе ворчала Хельга, загоняя на ночь Сухаря в сарай. Я обошла кухню, потрогала тёплую кладку ладонью, проверила тягу, поднеся к трубе пёрышко, и оно послушно потянулось вверх. Всё было так, как должно. Мне только нужно было решиться и сделать то, чего я не делала с того дня, как мама заболела: нарисовать руны не для себя, а для хлеба на продажу.

Я разожгла огонь, дождалась, пока камень нагреется, и размешала в чашке муку с водой. Руны надо рисовать не абы как: колос для сытости, спираль для тепла, и по линии, которую мама показывала мне ещё девочкой. Я обмакнула па-

лец в тёплую кашицу и провела по очажному камню первый знак, потом второй, шепча слова, которые знали только мы с матерью: на сытость, на тепло, на хлеб, который держит человека до вечера.

Огонь вздрогнул, стал ровным и золотым. Я поставила в печь первую закладку, десять караваев на лопате, и когда закрыла дверцу, руки у меня похолодели до самых локтей, будто я полоскала бельё в ледяной воде. Я села на скамью, привалилась спиной к стене и подумала, что не ела с утра. Пахло хлебом. Боги, как пахло хлебом.

Когда я вынула караваи, они были румяные, ровные, с хрустящей корочкой, и первый я отломила сама, прямо над кухонным столом. Тёплый мякиш заполнил рот, и по телу разошлась ровная тяжесть, как после доброго обеда. Я сидела на скамье с хлебом в руках и плакала, глупо, тихо, без всхлипов, потому что получилось. Мамина печь работала и здесь.

***

Стук раздался после полуночи.

Я решила, что мне почудилось, потому что дождь барабанил по крыше. Потом стук повторился, осторожный, тяжёлый, и я накинула платок поверх ночной рубашки, взяла кочергу и спустилась вниз.

– Кто там? – спросила я через дверь.

– Гхм… Это я, – ответили снаружи низким спокойным голосом, и я сразу узнала его. – Капитан Дубров. Прошу про-

щения за время, госпожа Тарн.

Я открыла. Он стоял на пороге, мокрый, с каплями на бороде и без плаща, в одной тёмной куртке, и вид у него был такой несчастный, что я забыла про кочергу.

– Если вы пришли оштрафовать меня за поздний огонь, то я предупреждаю: у меня тут всё прилично, и закон про ночь ничего не говорит, я справлялась, – начала я.

– Я пришёл не штрафовать, – он переступил с ноги на ногу. – Я понимаю, госпожа Тарн, что вчера назвал вашу печь нарушением порядка, а сегодня стою у её дверцы как нищий у храма, и это выглядит глупо, но запах, видите ли, сильнее устава. Он тянется через всю площадь и бьёт мне в нос, а я с утра ел один сухарь, потому что жалованье задерживают, и до первого числа у меня ни медяка. Я стоял у ворот ратуши, потом у казармы, потом решил пройтись, и вот я здесь, и мне самому стыдно, поверьте.

Я посмотрела на него, на капли, стекавшие по шраму, на руки, которые он не знал, куда деть, и пошла к столу. На нём остывали оставшиеся караваи. Я взяла самый румяный, замотала его в чистое полотенце и вернулась.

– Держите, – сказала я. – Он тёплый ещё. И не вздумайте отказываться, у меня их десять, и я одна столько не съем.

Он стоял на пороге и не решался войти, пока я не посторонилась, а потом осторожно, как в гостях у важной дамы, шагнул в сени, стараясь не задеть полки. Я заметила, что сапоги у него вычищены до блеска, хотя вся площадь была в

грязи, и что на рукаве куртки заштопана дыра, явно мужской рукой, неумело и старательно. Мне стало не по себе от этой заботливой неумелости.

Капитан принял каравай обеими руками, как берут птицу с раненым крылом, поднёс к лицу и долго стоял, закрыв глаза. Когда он открыл их, я увидела в них такую простую, такую безмерную благодарность, что мне стало неловко.

– Госпожа Тарн, – начал он, откашлявшись, – но я не могу вот так, даром. Вчера я выписал вам штраф в три талера…

– Выписали, – согласилась я, – и довольно ощутимо.

– Выписал в моём лице закон, – не растерялся он, – но я, в свою очередь, не хочу быть человеком, который берёт хлеб и не платит. У меня нет сейчас ничего, кроме слова. Вы позволите записать долг? Мелом, на доске, как у честных людей?

Я хотела сказать, что не нужно, но что-то в его лице остановило меня. Я достала с полки кусочек мела, подошла к чёрной доске у двери, на которой Хельга когда-то писала цены на свечи, и вывела: «Дубров, два медяка». Капитан прочитал, кивнул с таким серьёзным видом, будто подписывал договор, и бережно прижал каравай к груди.

– Я верну, – сказал он уже в дверях, и голос у него был тихий, ворчливый, но тёплый. – Запишите на меня. Я верну, я всегда возвращаю, просто не сразу.

Глава 3. Мена не торговля

В пятницу утром я надела своё лучшее платье, тёмно-синее, с белым воротником, которое берегла для храма, и села на лавку у дверей кабинета бургомистра. Платье сидело хорошо, коса лежала узлом, как положено приличной горожанке, а в папке на коленях у меня были все бумаги, какие только удалось собрать за два дня: запись о разводе, расписка о приданом, листок с расчётом, сколько караваев в день я смогу выпекать и сколько заплачу налога, если мне позволят.

За тяжёлой дверью кто-то долго, со вкусом сморкался. Потом послышался шелест бумаг, шаги, скрип кресла, и снова громкий, влажный трубный звук, от которого секретарь в углу сделал вид, что поправляет чернильницу. Я просидела так почти час, разглядывая дубовые панели и думая, что на этот час мне хватило бы замесить две квашни.

– Госпожа Тарн, – наконец позвал секретарь. – Господин бургомистр вас примет.

Торвальд Эк оказался круглым, как булка, и таким же мягким, с вечным платком у носа и глазками, которые скользили по мне, не задерживаясь, как по человеку, которого лучше не замечать. Он сидел за огромным столом, заваленным бумагами, и всем видом показывал, что очень занят, хотя ни одна из них, насколько я видела, не была раскрыта.

– Госпожа Тарн, э-э, присаживайтесь, – он промокнул нос.

– Я слышал, вы теперь живёте на Воротной площади. Весьма, весьма… неожиданный выбор.

– Я пришла за патентом, господин бургомистр, – я положила папку на стол и раскрыла её. – Мне нужен патент на торговлю хлебом. Я пеку, у меня есть печь и помещение, я готова платить гильдейский взнос и налог на лавку. Вот расчёт, вот запись о приданом, вот расписка Хельги Брун о том, что аренда внесена за месяц вперёд.

Он взял мой листок двумя пальцами, как берут что-то, оставляющее пятна, и вернул обратно.

– Видите ли, патент выдаётся пекарной гильдией и подтверждается печатью бургомистра, а гильдия, понимаете ли, заседает не чаще раза в квартал. Бумаги, ах, бумаги, они требуют времени. Есть ещё обстоятельства…

– Какие обстоятельства? – спросила я. – Я ничего не нарушила. Гильдия пускает в свои ряды всех, у кого есть печь и честная мука.

– Обстоятельства, госпожа Тарн, они бывают разные, – Торвальд замялся и затеребил платок. – Вы ведь понимаете, что в нашем городе всякое дело зависит от общего согласия. Я бы с радостью, но нельзя, невозможно, вы же сами видите, какая ситуация.

– Я вижу ситуацию, господин бургомистр, – я встала, потому что у меня задрожали руки и сидеть было невозможно. – Я вижу, что десять дней назад я была женой генерала, и тогда мне никто не отказывал, а теперь я просто пекарь, а

пекарю отказывают. Скажите прямо, кто просил вас не давать мне патент?

– Никто не просил! – он вскинул круглые руки и испуганно оглянулся на дверь. – Что вы, господь с вами. Генерал марки, госпожа Тарн, не может ничего у меня просить, – сказал бургомистр и прижал платок к носу. – Он лишь… гхм… высказал пожелание.

Наступила тишина, в которой было слышно, как в приёмной скрипнул стул. Торвальд побагровел, понял, что проговорился, и стал рыться в бумагах с таким усердием, словно искал там спасения.

– Благодарю вас, господин бургомистр, – сказала я очень спокойно. – Вы мне очень помогли. Теперь я хотя бы знаю, как это называется.

Я вышла и закрыла за собой дверь тихо, без хлопка, потому что хлопнуть означало бы признать, что мне больно. Спустилась по лестнице, держась за перила, и на втором пролёте остановилась, потому что щёки горели так, что хотелось приложить к ним мокрую тряпку. Значит, Рагнар не просто выбросил меня из дома. Он ещё и подстраховался, чтобы я не смогла встать на ноги в его городе, как вытирают пол, чтобы не осталось следов.

***

– Госпожа Тарн! Госпожа Тарн, подождите!

Меня догнала женщина лет тридцати пяти, худощавая, в очках на шнурке, с пальцами, до локтей измазанными чер-

нилами. Она прижимала к груди толстый свиток и задыхалась, будто бежала за мной через всю ратушу. Я узнала писаря ратуши, Петру Норд, которую видела пару раз в храме.

– Я слышала, – выдохнула она и отвела меня за колонну, подальше от дверей. – Простите, что подслушивала, мне положено слышать, это моя работа. Господин бургомистр сказал вам неправду, нет, не неправду, он просто сказал не всё. Я проверяла в архиве. В старом своде марки есть статья, которую никто не читает уже лет сорок. Там написано, что мена не торговля, и на неё патент не нужен.

– Мена? – я не сразу поняла. – То есть если я не продаю, а меняю?

– Именно! – Петра развернула свиток, и в тусклом свете из окна я увидела выцветшую строчку. – Если вы отдаёте хлеб не за деньги, а за дрова, гвозди, работу или иной товар, то это не купля и не продажа, а обмен, и он регулируется только договором между сторонами. Старый закон, марка-граф давно забыл о нём, а бургомистр, мне кажется, просто никогда не читал. Я переписала для вас статью, вот, возьмите, с печатью архива, чтобы никто не усомнился.

Она сунула мне в руки лист, и я стиснула его так, будто это была горячая лепёшка. Ох, как мне хотелось её обнять, но Петра уже пятилась, поправляя очки.

– Почему вы мне помогаете? – спросила я. – Вас же уволят, если узнают.

– Потому что он штрафовал мою сестру за три хлебных

крошки на ступенях, – отрезала Петра неожиданно жёстко. – И потому что у вас вчера вечером пахло так, что я весь вечер ходила вокруг площади. Идите, госпожа Тарн. И не говорите, откуда у вас статья.

Она ушла, шурша свитком, а я стояла на лестничной площадке и смеялась, тихо, в кулак, пока на меня не оглянулся секретарь. У меня была бумага. Маленькая, пожелтевшая, переписанная чернилами, но бумага, и никакой бургомистр не мог эту бумагу взять и отменить.

***

В субботу мы с Хельгой сидели на полу в торговом зале и красили доску. Я принесла её из сеней, потолще, из дубовой плахи, оставшейся от свечных стеллажей, а Хельга достала из каких-то своих запасов белую краску, густую, как сметана, и кисти, которым было лет двадцать. Мы вымыли доску, высушили её у печки и в полдень принялись за надпись.

– Только не пиши «хлеб на продажу»! – кричала Хельга мне в правое ухо. – Они там с этой статьёй развернутся! Пиши, как положено, деточка, как в старом законе: что отдаёшь и что берёшь!

– Я пишу, не мешайте, а то получится «хлеб за день», – ответила я, высунув язык от усердия.

Получилась строка: «Хлеб за дело: дрова, гвозди, починка». Я отступила на два шага, посмотрела на неровные буквы, которые у меня разъехались к концу, как пьяные, и в ту же секунду Хельга прыснула. Сначала тихо, в платок, потом

громче, потом согнулась пополам и затряслась, схватившись за бок, и когда я сама не выдержала и засмеялась, она уже хохотала до икоты и тыкала пальцем в доску.

– Хлеб за… ик… за дело! – выдавила она. – Деточка, ты понимаешь, что там вот эта «ч» в «починке» как будто хромая старушка? Ик! Ох, не могу, мне лучше сесть, а то лопну!

Она села прямо на пол, утирая слёзы тремя платками по очереди, а я привинтила доску к двери двумя большими гвоздями, которые остались от стеллажа, и, пока Хельга приходила в себя, вывела под надписью поменьше: «Мена по старому закону марки». Ради статьи, которую никто не читал. Пусть читают.

***

В воскресенье я встала в четыре утра и затопила печь.

Это была первая большая выпечка, не проба, а настоящая: шесть квашней, которые я замесила накануне вечером и оставила подходить в тёплой кухне, укрытые полотенцами. Я рисовала руны на камне, колос и спираль, шептала слова, и огонь становился ровным, золотым, послушным, как кошка у ног. Первая закладка, вторая, и руки опять холодели, голова клонилась, но я помнила, что больше двух закладок в день нельзя, и заставляла себя делать всё по порядку.

К рассвету по лавке потёк такой дух, что я, не выдержав, распахнула дверь и окно. Запах вышел наружу, пополз по Воротной площади и, как мне показалось, потянулся к Северным воротам гарнизона, тонкой тёплой струйкой, как нитка

на иголке. Я стояла на пороге, вытирая руки о фартук, и видела, как у ворот остановился караульный, поднял голову и повёл носом, словно ищейка. Потом он оглянулся на товарища, и тот тоже принюхался, и они оба посмотрели в мою сторону.

– Ох, ну и пусть нюхают, – сказала я вслух. – Пусть приходят.

День прошёл в хлопотах, потому что утром никто не пришёл, и днём не пришёл, и я начала нервничать, расставляя румяные караваи на полках. Я перекладывала их с полки на полку, поправляла полотенца, сметала невидимые крошки, и всякий раз, когда на площади слышались шаги, подбегала к окну, но шаги проходили мимо. К вечеру у меня заболели ноги, и я вдруг испугалась, что напрасно потратила муку, дрова и два дня жизни на доску, которую никто не прочитает. Хельга вышла из флигеля, оглядела запасы и сказала, что хлеб такой красивый, что жалко продавать, пусть бы так и лежал. Я ответила, что я не продаю, а меняю, и мы обе снова засмеялись, хотя у меня уже начало подводить живот.

***

Они пришли в понедельник, едва рассвело. Сначала один, потом трое, потом ещё несколько. Первым постучал тот самый лопоухий парень, что помогал мне вывозить печь, с охапкой берёзовых поленьев в руках, красный, как маков цвет.

– Госпожа пекарша, – сказал он, с трудом протискиваясь в

сени. – Мы тут с ребятами подумали. Читали на двери. Дрова у нас в казарме остались, ещё с лета, никому не нужные, а у вас, говорят, хлеб такой, что… Ну, в общем, вот. Это за каравай.

– Вот и ладно, – ответила я и взяла у него поленья. – Положи в сени, к стене, и вот твой каравай, тёплый ещё. Как тебя звать?

– Нильс, госпожа пекарша. Нильс Сунд, – он понюхал хлеб, зажмурился и улыбнулся так по-детски, что я забыла, что он солдат.

За ним шли другие. Один принёс мешочек гвоздей и вызвался починить петлю на двери, другой предложил заменить расшатанную ступеньку, третий притащил связку лучины. Я принимала всё, взвешивала на глаз, считала в медяках, и не могла надивиться: оказывается, солдаты умели не только маршировать. Они чинили, строгали, колотили молотками, рассказывали друг другу, что хлеб пахнет домом, что в казённой пекарне такой хоть бы раз, и я, отмеряя ломти, вдруг поняла, что не стесняюсь запаха муки, которым пропиталась до корней волос.

К восьми у крыльца собралась небольшая толпа. Среди неё я заметила тёмный плащ и серебряную бляху, а потом и рыжевато-бурую бороду. Капитан Дубров стоял на краю площади, не приближаясь, и читал мою доску с таким выражением, словно ему поднесли протокол.

– Мена, – произнёс он, когда я вышла к нему. – Гхм. Гос-

пожа Тарн, я по долгу службы обязан проверить, не торгуете ли вы без патента. У нас есть указание следить за подобными делами, хотя я, признаться, не нашёл бы у себя такого пункта, если бы мне его не продиктовали.

– Тогда проверяйте, капитан, – я протянула ему лист, переписанный Петрой, с печатью архива. – Вот статья старого свода, читайте вслух, если хотите.

Он надел на нос стёкла, которые достал из кармана, и стал читать, шевеля губами, медленно, дважды вернувшись к началу. Я стояла и ждала, покачиваясь на пятках. Наконец он снял стёкла, протёр их о рукав и вздохнул так долго, что на площади зашевелились голуби.

– Закон есть закон, – сказал он тоном человека, который признаёт поражение. – Я, госпожа Тарн, не люблю, когда он расходится с желанием начальства, потому что тогда мне приходится выбирать, а выбирать я не умею. Но, увы, мена, если верить этой бумаге, действительно не торговля. Мне нечего вам предъявить.

– Рада слышать, – ответила я. – А хлеб вы будете брать, или вам уставом запрещено?

– Хлеб, – повторил он, и по бороде снова пробежала знакомая тень улыбки, – это, видите ли, вопрос не устава, а желудка. У меня до сих пор записан должок, а у вас, как я посмотрел, уже скопилась очередь. Если я встану в неё сейчас, то нарушу порядок, а если уйду, потеряю последнее достоинство. Позвольте, я возьму ещё один каравай в долг?

Я кивнула, зашла в лавку, вынесла ему хлеб и подошла к доске, где мелом было выведено «Дубров, два медяка». Я стёрла «два» и вывела «четыре». Капитан прочитал, поклонился мне, как на балу, и ушёл вдоль площади, прижимая каравай к плащу, а за ним, на почтительном расстоянии, потянулись глазами все, кто стоял в очереди.

К полудню у меня в сенях лежало дров на месяц, а у ворот гарнизона стоял караульный и смотрел на мою дверь так, будто это он сторожит её, а не ворота.

Глава 4. Очередь до самых ворот

В пять утра, во вторник, я месила третью квашню, и в дверь уже стучали. Не в окно, не по доске, а именно в дверь, кулаком, настойчиво и по-хозяйски, как стучат люди, которые знают, что за ней тепло. Я стояла по локоть в тесте, волосы выбились из-под косынки и прилипли к мокрому лбу, на левом запястье, на старом ожоге, налипла мука, и мне хотелось закричать, что я не железная.

– Иду! – крикнула я вместо этого. – Подождите, я не двенадцать рук родила!

За дверью засмеялись, и я, вытерев ладони о фартук, пошла открывать. На пороге топтались трое солдат с охапками щепы и мешком железных скоб, а за ними, насколько хватало света от фонаря, вдоль всей стены лавки темнела цепочка людей, уходивших в предрассветный туман.

За один день очередь выросла так, что сперва я не поверила. Первые солдаты пришли в понедельник, потом их стало втрое больше, потом они начали приводить друзей, а теперь, выглядывая в окно, я видела, что хвост тянется через всю Воротную площадь и упирается в Северные ворота гарнизона. Над хвостом поднимался пар от дыхания, кто-то грел ладони, кто-то подпрыгивал на месте, а один рыжий парень в углу вовсю играл на дудке, и вся эта картина напоминала мне ярмарочный день, только на ярмарку обычно идут с деньга-

ми, а мои покупатели шли с гвоздями.

– Ох, господи ты боже мой, – прошептала я и закрыла дверь. – Я одна не справлюсь. Совсем не справлюсь.

Я прислонилась лбом к косяку и несколько мгновений просто дышала. Радоваться бы, а я боялась. Хлеб, который задумывался как способ не умереть с голоду, превращался в дело, а дело требовало того, чего у меня никогда не было: рук, денег, терпения и людей, которым можно доверить ложку. Сколько себя помню, я всё делала сама, потому что так проще, потому что если ошибёшься, винить некого, потому что просить помощи значило признать, что не справляешься. Отец называл это упрямством, мать гордостью, а Рагнар, видимо, глупостью, и все трое были правы.

Печь могла выдержать две закладки в день, и ни одной больше: это я помнила, потому что мама, когда однажды сделала три, три дня лежала пластом. А очередь хотела хлеба, много, как можно больше, и лёгкого способа накормить триста человек двумя закладками не существовало. Значит, нужно было считать иначе. Больше теста на закладку, больше досок для расстойки, больше рук для формовки, а это означало, что мне нужен помощник.

***

Помощник пришёл сам, в среду, ближе к полудню, когда я думала, что вот-вот упаду носом в муку. Девушка лет семнадцати, худая, как жердь, с коротко стриженной головой, словно после тяжёлой болезни, остановилась на пороге и так

застенчиво скомкала край передника, что я сначала приняла её за просительницу.

– Хозяйка, – выдавила она. – Я Сигрид. Сигрид Ланге. Мама моя прачка, Ханна, мы на Речной живём, и она сказала, что вы, наверное, ищете… то есть вам, наверное, нужна… то есть я могу носить воду, мыть, что угодно, я ничего не боюсь, только вот всё роняю.

Тут она в доказательство задела локтем стоявшее у двери ведро. Ведро грохнуло, вода хлынула на пол, а Сигрид побелела и кинулась собирать тряпкой, повторяя «простите, простите», пока я не взяла её за плечи.

– Стой, не мельтеши, – сказала я. – Пол я вытру сама, он у меня привык. Скажи мне, тесто месила когда-нибудь?

– Дома, хозяйка. Из остатков ржаной, на лепёшки.

– Вот и хорошо. Рожь это мука с характером, а с характером мы справимся. Снимай платок, мой руки до локтей, и мы начнём. Жалованья пока не обещаю, но будешь есть вдоволь и получать по два каравая в день, один себе, один матери. Идёт?

Сигрид сглотнула, потрясённо моргнула и кивнула, а я заметила, что кончики её пальцев дрожат. Я поставила её у стола, объяснила, как мять, когда подсыпать муку, как узнать, что тесто «дышит», и через час она уже выглядела не жердью, а упрямой тонкой берёзкой.

Но к вечеру она, конечно, сожгла первый каравай. Я отвернулась на минуту, чтобы вынуть противень, а когда вер-

нулась, в печи темнел уголь, дымящийся, с растрескавшейся коркой. Сигрид стояла перед ним, закрыв рот руками, и по щекам у неё катились слёзы.

– Хозяйка, я… я не нарочно, я… вы меня выгоните?

Я вытащила каравай лопатой, перевернула, постучала по чёрной корке костяшками пальцев, и он глухо отозвался, как деревянный.

– Выгнать тебя? – я рассмеялась так, что чуть не села на пол. – Девочка, да я в твои годы сожгла три каравая подряд и одну дверцу, и мама мне сказала, что я талант, потому что кто не умеет сжечь хлеб, тот не умеет его печь. Ох, не плачь, а то соль в тесто попадёт. Вот, смотри, снизу он совсем целый, мы с тобой срежем корку и съедим мякиш с маслом.

Она всхлипнула, потом рассмеялась, вытирая нос рукавом, и мы сели на скамью, подставив ладони под тёплый ломоть. Подгоревший каравай оказался отменно вкусным, с горчинкой, и Сигрид сказала, что никогда в жизни не ела ничего лучше. Мы положили обугленную корку на полку над печью, как талисман. Я не знала, что она там пролежит до самой зимы.

***

Очередь шумела, и вместе с очередью в лавку входили разговоры. К четвергу мы с Сигрид уже двигались вокруг стола, как две мельничные шестерни, и она роняла вещи только вполовину реже. Я учила её читать тесто: нажми пальцем, видишь, ямка медленно возвращается, значит, готово;

смотри на швы, не на часы; слушай, как корка потрескивает на воздухе, это хлеб поёт, пока остывает. Сигрид повторяла за мной шёпотом, как молитву, и один раз так осторожно вынула противень, что я готова была расцеловать её в стриженый затылок. Работы прибавилось, но с ней и дышалось легче, и по вечерам я даже успевала присесть на скамью с кружкой горячей воды.

Я слушала разговоры очереди, пока резала хлеб, пока считала дрова и гвозди, и понемногу складывала, как складывают кусочки мозаики, не понимая ещё, что получается картина.

– Казённый хлеб горький стал, – говорил в четверг утром сержант средних лет, получая от меня каравай. – Ты зубами берёшь, а он пахнет сыростью. Гуннар-повар ругается, говорит, что мука не та. Ходит по пекарне с поварёшкой и бранит всё подряд, и муку, и интенданта, и погоду.

– А у нас в третьем отряде троих крутит, – подхватил рядом солдат помоложе. – Живот, понимаешь, у одного, а у двух ещё и в руках жжёт. Лекарь Бранд говорит, что осенняя хворь, пройдёт.

– А то, – хмыкнул сержант, – у нас вечно осенью хворь, а зимой хромота. Ты, госпожа пекарша, не слушай, нас накормят и этим.

Я слушала, кивала, подкладывала им лишний ломоть и думала, что казённая кухня, конечно, никогда не была поэзией, но я знала Гуннара Бьёрка, повара огромного, как медведь, и

мягкого, как булка, который три года пробовал мои кислые щи и ни разу не пожаловался. Если Гуннар бранится на муку, значит, дело не в нём. Однако у меня было слишком много хлопот, чтобы думать, откуда в гарнизоне берётся мука.

В четверг, около четырёх, на площади появился всадник на вороном коне. Я сразу узнала коня Угля, который чуть заметно пританцовывал на мостовой, и седока, прямого, как алебарда, в чёрном плаще. Рагнар проехал вдоль очереди медленно, не глядя на лавку, только на людей: на солдат в мундирах, которые стояли с мешочками гвоздей и хлебом в руках. Он остановился у ворот, и я видела издали, как он что-то коротко сказал Лейфу. Потом развернул коня и скрылся за стеной.

Вечером Нильс, красный и виноватый, переступая в сенях с ноги на ногу, пересказал мне приказ, как будто сам был его автором.

– Госпожа пекарша, нам велели не выходить в караульное время. Ни в очередь, ни по другим делам. Только после смены. И не вместе, а по одному, а то, дескать, ворота без охраны.

– Ну-ну, – я вытерла руки о фартук, и меня вдруг разобрал смех, злой, но вкусный. – Значит, в караул нельзя, а после смены можно. Передай ребятам, Нильс, что у меня до одиннадцати вечера светло, а печь греет и после.

Он шмыгнул носом, улыбнулся, и на следующий день очередь выросла вдвое. Солдаты, сменившись, шли ко мне гурь-

бой, грязные, голодные и весёлые, а те, кто стоял в карауле, поглядывали на мою дверь с таким тоскливым видом, что я стала откладывать для них по каравайчику, который передавала через Нильса. Рагнар запретил им выходить, но не сумел запретить им хотеть.

***

В пятницу к полудню на площадь въехала коляска, запряжённая белой парой. Я как раз выглянула из лавки, чтобы вынести Сигрид пустую кадку, и застыла, потому что коляска остановилась прямо перед моим крыльцом. Дверца открылась, и по ступенькам, придерживая подол платья, сошла Ингрид Сольве.

Платиновые волосы под лёгкой шляпкой, серые перчатки, голос низкий, мягкий, как бархат на ощупь. Она вошла в лавку так, словно была здесь хозяйкой, и очередь расступилась, замолчала, а какой-то солдат торопливо стащил шапку. Графиня окинула взглядом полки, румяные караваи, печь за открытой дверью кухни, и повернулась ко мне с улыбкой, в которой нельзя было разглядеть ничего, кроме вежливости.

– Госпожа Тарн, – сказала она. – Как приятно вас видеть. Я не хотела тревожить вас в такой горячий час, но дело, к сожалению, не терпит отлагательств. Не найдётся ли у вас минуты поговорить?

– У меня очередь, ваше сиятельство, – ответила я, не двигаясь. – Но минуту я найду. Сигрид, присмотри за огнём.

Мы прошли в угол, к окну, где пахло воском. Графиня

сняла перчатку с одной руки, провела пальцем по подоконнику, проверяя пыль, и невесело усмехнулась, когда пыли не нашла.

– Я скажу прямо, потому что вы женщина здравая, – начала она. – Печь, которую вы вывезли из комендантского дома, мне очень нравится. Она приносит удачу, правда? Мне говорили, что она ещё вашей матери, а я, знаете, сентиментальна к чужой памяти. Я хотела бы купить её. Двести талеров, госпожа Тарн. Двести за кирпич и память. Вы получите их сегодня же, наличными.

– Двести талеров, – повторила я. У меня на секунду закружилась голова: я никогда в жизни не держала в руках такой суммы, это было в пять раз больше, чем я привезла в лавку, это была аренда на три года вперёд, это была свобода. – Но зачем вам моя печь, ваше сиятельство? У вас ведь в усадьбе наверняка три печи, и все лучше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.